

Великая русская революция 1917 г.: взгляд через столетие

К.И. ЗУБКОВ, кандидат исторических наук,
Институт истории и археологии Уральского отделения РАН, Екатеринбург.
E-mail: zubkov.konstantin@gmail.com

В статье на основе пересмотра вопроса о социальной сущности российского государства и общества второй половины XIX – начала XX вв., детальной характеристики абсолютистского режима и проводимой им политики модернизации раскрываются социальные противоречия, вызвавшие Великую русскую революцию 1917 г. Согласно автору, в революции ярко проявились цивилизационные особенности России как страны, совмещавшей в своем развитии социальную динамику, характерную для обществ Запада и Востока. Инерция традиционализма и структурные деформации развития капитализма придали событиям 1917 г. характер прогрессивной антиабсолютистской революции, совместившей в себе черты неудавшейся буржуазной революции, победоносного крестьянского восстания, радикального социального переворота и традиционалистской реакции.

Ключевые слова: Россия, революция, модернизация, традиция, абсолютизм, самодержавие, буржуазия, капитализм, Запад, Восток

Спустя столетие Великая русская революция 1917 г. остается одним из самых противоречивых и загадочных событий в истории России. Хотя весь событийный контекст революционного кризиса от Февраля к Октябрю впечатляюще подробно – едва ли не до дней и часов – исследован историками, это порой очень мало добавляет к нашему пониманию социально-политического смысла революции, ее глубинных причин и значения в истории страны. Гораздо больше на оценки революционного переворота 1917-го влияли изменения ретроспективного взгляда на него с высоты каждого последующего этапа развития страны. И дело здесь не только в искусственной смене идеологических ориентиров. Последние служили лишь отправными моментами для привлечения новых объяснительных подходов, мобилизации новых исторических фактов, которым историки ранее не уделяли должного внимания, нацеленности на изучение некоторых парадоксальных и труднообъяснимых черт революционного процесса, охватившего Россию в начале XX в.

Революция парадоксов

Нельзя отрицать, что политическая победа большевиков в 1917 г. и последующие триумфальные успехи советского социализма надолго спроецировали на сознание большей части человечества бесклассовую коммунистическую (и одновременно «россиецентричную») перспективу мирового развития, заставляя верить в то, что даже сравнительно отсталая, по всем канонам марксистской теории, страна при уникальном стечении благоприятных обстоятельств способна первой осуществить прорыв к построению принципиально нового, социально справедливого общества. После крушения в начале 1990-х гг. советской системы революция стала рассматриваться как главный фактор, способствовавший схождению страны с единственно перспективной – либерально-капиталистической – магистрали развития и движению в исторический тупик. Полярное расхождение этих точек зрения на революцию указывает не только на различия идеологически мотивированных интерпретаций. Оно вскрывает и один из наиболее заметных, отмеченных в историографии реальных парадоксов, касающихся характера революции 1917 г.: хотя революция породила мощный модернизационный рывок, изменивший за короткий исторический срок лицо страны, открывший ее народу новые возможности в экономике, науке и культуре, некоторые ее черты носили откровенно антимодернистский характер, особенно в политической и социально-ментальной сферах [1. С. 295–296].

Еще один парадокс русской революции 1917 г. заключается в том, что она и по своим движущим силам не очень удачно укладывается в общепринятую социологическую схему, где революция понимается как, прежде всего, *социально-политический* переворот, приводящий к власти передовой, уже экономически доминирующий класс, который обеспечивает переход общества на более высокую ступень социально-экономического прогресса. Догматический марксистско-ленинский взгляд, внушавший, в угоду формационной теории, что в 1917 г. произошли две самостоятельные революции – Февральская («буржуазная») и Октябрьская («пролетарская»), сегодня уже не выдерживает критики. Очевидно, что имел место единый, непрерывно развивающийся процесс революции, который, однако, не смог утвердить у власти русскую буржуазию (что, казалось бы, должно было

последовать, исходя из логики развития), но в еще меньшей степени – по недостатку объективных предпосылок, в силу ничтожной численности рабочего класса и его незрелости – допускал возможность перехода к социализму. На фоне социальной катастрофы и обостряющегося гражданского противостояния к власти прорвалась группировка леворадикальной интеллигенции, которую, если и можно было бы рассматривать как «класс», то «класс» исключительно *политический*, не имеющий корней в экономике.

Отдельного обсуждения в этом же контексте заслуживает вопрос о *всемирно-историческом* значении русской революции 1917 г., о котором в свое время много говорилось и которое невозможно подвергать сомнению уже из-за размеров и глобального значения самой страны, обратившейся к реализации еще невиданного в истории эгалитарно-утопического социального эксперимента. Однако еще до краха СССР в 1991 г. и после него многими западными интеллектуалами вполне убедительно было доказано, что если советский социализм и составлял на определенном этапе мощную альтернативу западному капитализму, то не в социальном, а исключительно *геополитическом* и *цивилизационном* отношении [2. С. 286–291, 294–299; 3. С. 18–28].

Несмотря на свои глобальные амбиции, советский социализм не стал вдохновляющим примером ни для одной из стран *западного мира*, но зато его модель, удачно накладываясь на туземные добуржуазные традиции, обрела свое государственно-политическое воплощение в целом ряде *незападных* обществ – по крайней мере, на более или менее самостоятельной основе на слабо развитой восточноевропейской периферии (Югославия, Албания) и в некоторых странах Азии (Китай, Вьетнам) [4. Р. 52–53]. Это если и не сужает значение революции 1917 г. до самобытно-русского явления, то заставляет видеть в ней совершенно особое *цивилизационное* содержание, которое лишь маскировалось в одежды марксистской – западной по происхождению – идеологии.

Эти парадоксы и противоречия – наглядное проявление всё большего несоответствия между упрощающим и догматическим «детерминизмом», унаследованным от марксистской теории, с помощью которого объясняли причины и результаты революции 1917 г., и реальной сложностью русского исторического

процесса. В этой связи русская революция, возможно, больше, чем любое другое событие отечественной истории, нуждается в теоретическом переосмыслении.

Цивилизационные особенности российского абсолютизма

Прежде всего, в пересмотре нуждаются некоторые исходные теоретические постулаты, характеризующие *социальную природу* предреволюционного российского общества и государства – по крайней мере, начиная с пореформенного периода 1860-х – 1870-х гг. Представлять предысторию русской революции в марксистском ключе как неизбежную и всё более ускоряющуюся эволюцию феодально-сословного общества в капиталистическое, а самодержавно-феодальной монархии – в буржуазное – это, с нашей точки зрения, недопустимое упрощение реальной сложности того общественно-политического организма, какой представляла собой Россия в последние десятилетия XIX в.

По типу власти монархия Романовых вплоть до 1917 г. была *абсолютистским* режимом, который исторически явился продуктом так называемой абсолютистской «революции», происходившей на рубеже XVII–XVIII вв. в целом ряде европейских и полувосточных стран. Ее суть состояла в качественной трансформации систем власти, имевшей далеко идущие социальные последствия, – а именно, в возникновении рационалистической концепции «абсолютного» государства как технически совершенного средства, позволяющего власти, благодаря созданной ею бюрократической машине, осуществлять *всеобъемлющий высокотехнический контроль* над обществом [5. С. 172–173].

Являясь воплощением просветительской идеи о благотворности «разумного» деспотизма, призванного в своем сознании требований свободы и прогресса преобразовать грубую, отсталую, несовершенную реальность [6. С. 68–69], абсолютизм на практике был не только новой формой политической власти, но и, как полагают некоторые авторы, самостоятельной – *политарной* – социально-экономической «формацией», в которой политика господствовала над экономикой, подчиняя гигантскому и разветвленному, мыслимому как единое целое государственному хозяйству все существующие в обществе

уклады (крестьянско-общинный, купеческо-бюргерский, а затем и капиталистический) [7. С. 476].

Несмотря на внешнее сходство, господство абсолютизма на Западе и в России имело принципиальные различия, а самое главное – разные социальные последствия. В Западной Европе абсолютизм представлял собой, по выражению Й. Шумпетера, «феодализм на капиталистической основе» [8. С. 183–184] – исторически преходящую форму *административно-экономического* (но не политико-юридического) контроля власти над обществом, оставлявшего различным автономным корпорациям (сословия, локальные сообщества и т.п.) известную свободу действий и ценностного самоопределения. Это позволяло абсолютистской власти в разумно-умеренных пределах эксплуатировать экономическую самодеятельность корпораций, а последним – возможность сопротивляться чрезмерным деспотическим притязаниям власти.

Российский же абсолютизм, представлявший собой несколько иное – стадияльно более отсталое – соотношение социальных компонентов (точнее, их инверсию), вслед за Шумпетером можно охарактеризовать как «капитализм на традиционной основе», т.е. как систему, обеспечивавшую воспроизводство определяющих государственную мощь структурных компонентов западного *капитализма* за счет ресурсов добуржуазного *традиционного* общества [9. С. 76].

Если на Западе, где абсолютизм не до конца подчинил себе сословные корпорации, его господство было лишь временной фазой, то в случае России произошло как бы «замыкание контура»: заимствуемая в Европе идея абсолютистской монархии в ходе реформ Петра I удачно сомкнулась с древней московской традицией *патримониального* (вотчинного) государства, в котором социальная структура общества формировалась через прикрепление всех общественных разрядов и сословий к объектам и служебным функциям единого государства-«домохозяйства» [10. С. 159–161]. Это предполагало не только безраздельную власть государства над жизнью и имуществом подданных, но и его неограниченную свободу в перераспределении ресурсов в рамках этой единой и единственной «корпорации».

В результате синтеза новаций бюрократической рационализации и традиционной основы патримониального государства –

неограниченной власти монарха-самодержца, в России возникла чрезвычайно устойчивая, просуществовавшая свыше двух столетий абсолютистская система, во многих отношениях «более эффективная... чем где-либо на Западе» [11. С. 82]. Условия страны, вынужденной постоянно обороняться против сильных противников, добавляли прочности этой властно-политической конструкции, делая страну подобием «военного лагеря», где высшая государственная власть не только подчинила себе все существующие экономические уклады, но и придала весьма еще аморфному социальному агрегату общества по-военному четкую организацию, обязав каждое сословие нести в пользу государства различные службы, повинности и тягла [12. С. 44]. Это делало самодержавие – и не иллюзорно, но вполне реально – как бы «парящим» над сословным обществом, придавая ему черты *надклассовой* монархии [11. С. 82].

Это прочно фиксировалось и в самосознании власти. Рассматривая себя как орудие «общего блага» (это понятие появилось уже в 1702 г. в одном из петровских указов) и требуя от сословий беспрекословного выполнения служебных обязанностей, самодержавная власть вместе с тем брала на себя опеку над благосостоянием и «пользами» всех без исключения сословий. Благо каждого из сословий было опосредовано приоритетным благом государства.

Характерно, что русская политико-правовая мысль XIX – начала XX вв. (в том числе и либеральная) вполне определенно квалифицировала природу самодержавной монархии как совершенно особый, отличный от феодального государственный тип – «военно-национальное государство» (или «военную империю»), исторически помещаемое между «феодализмом» и «промышленно-правовым строем» [13. С. VI–VII]. Известный реформатор С. Ю. Витте также определял Россию как «военную империю» [14. С. 509], в одних случаях подвергая критике инертность царской бюрократии и ее чуждость современным экономическим веяниям, в других – находя авторитаризм управления чрезвычайно эффективным инструментом проведения экономических преобразований.

Либеральных критиков самодержавия при этом не смущал тот факт, что в сопоставлении с эфемерной, теряющейся в глубине веков «феодальной» фазой «военное государство» – это

для России на удивление долговечная политическая форма, которая обеспечила стране несколько веков стабильного развития и продемонстрировала огромные адаптивные возможности. Предсказывая легкость превращения военной монархии в конституционно-правовое государство, они не учитывали тот факт, что самодержавный строй отличался если не своей правовой оформленностью, то, по крайней мере, собственной, глубоко укорененной и по-своему довольно логичной, системой политических идей и принципов.

Как показал М. Раев, в России эта идеология формировалась с XVIII в. под сильным влиянием немецкого камерализма и разработанного в его недрах концепта «полицейского государства» (понимаемого, конечно, не как выражение его репрессивной сущности, но как ранний аналог государства «всеобщего благоденствия») [15]. Это находило свое выражение в претензиях правящей элиты на способность аккумулировать, наделять «разумом» и адекватно воплощать интересы разных групп населения в едином курсе государственной политики, выдерживая равномерность прогресса во всех сегментах общества и регулируя одновременно тот набор служебных функций, которые надлежало выполнять отдельным сословиям и группам населения для достижения «общего блага», т.е. безопасности и могущества государства. При этом государство рассматривало себя и как верховного собственника и распорядителя всеми богатствами страны. Симптоматично, что Николай II в ответах на вопросы первой Всероссийской переписи населения 1897 г. определил свой род занятий в полном соответствии с патримониальной традицией: «Хозяин земли русской» [16. С. 6].

Представление о том, что в рамках большой политарно-хозяйственной «оболочки», обнимающей всё общество, государство не сковано никакими правовыми ограничениями и вправе совершать любые преобразования отношений собственности во имя «общего блага», еще и в конце XIX в. прочно держалось в сознании даже образованной части русского общества.

Социальная природа российского абсолютизма

С учетом всего этого весьма непросто составить представление о подлинной социально-классовой основе такого государства. Тезис В.И. Ленина о том, что до Февраля 1917 г.

«государственная власть в России была в руках одного старшего класса, именно: крепостнически-дворянски-помещичьего» [17. С. 133], выглядит не более чем конъюнктурным наложением упрощенной марксистской схемы на гораздо более сложную историческую реальность. Бесспорно, дворянство длительное время составляло единственный привилегированный и образованный класс страны, массово поставлявший кадры для военной и гражданской службы; в истории России можно даже выделить этапы, когда правительственная политика могла быть охарактеризована как отчетливо продворянская (например, при Екатерине II). Однако, как отмечает Д. Ливен, начиная с реформ Петра I, который обременил дворянство довольно тяжелой службой, одновременно открыв в него доступ представителям других сословий, его судьба в целом испытала трансформации, плохо соотносимые с его положением как господствующего сословия. В силу возраставшей гетерогенности своего состава с точки зрения богатства, культуры, экономических и профессиональных интересов, дворянство не превратилось в единый класс, но и не стало правящей элитой – прежде всего – по причине тотальной подчиненности государству и отсутствия самостоятельных политических институтов, которые бы позволяли ему контролировать государственную машину и эффективно отстаивать свои интересы [18. Р. 228–229]. Если самодержавие, из-за компромисса с традицией, прочно связало дворянство с государством, то на первом месте в этой связке, определенно, стояли интересы государства.

Государство осуществляло весьма тонкую «настройку» всей системы сословных отношений. В сознании и государства, и общества господствовали представления о том, что все интересы и чаяния сословий могут обретать разумную форму и наилучшим образом воплощаться именно верховной властью, и если в чем-то права отдельных сословий ущемлялись, то это было обусловлено опять-таки высшей государственной необходимостью. А. Д. Пазухин, один из дворянских идеологов контрреформ 1880-х гг., например, писал, что крепостное право виделось абсолютно оправданным и необходимым как средство гарантировать занятому государственной службой дворянству надежный источник благосостояния, но с изданием Жалованной грамоты дворянству 1785 г. сохранение крепостного права в глазах русского

общества лишилось всякого морального оправдания [12. С. 8]. Только нерешительность власти, опасавшейся непредсказуемых последствий эмансипации, привело к тому, что освобождение крестьян произошло лишь в 1861 г.

Весьма противоречивый с этой точки зрения характер носила и сама крестьянская реформа 1861 г. Как подчеркивал К. Д. Кавелин, реформа в настоящем смысле не удовлетворила ни дворян, ни крестьян, а прошла по какой-то бюрократической «равнодействующей», отражая намерение власти решить взрывоопасную социальную проблему, не жертвуя сохранением социального порядка [10. С. 124–125].

Важным элементом этого порядка оставался мотив попечения власти над сословиями. Например, длительное, во многом искусственное сохранение в России крестьянской общины, вероятно, следует объяснять не только удобствами ее использования в качестве средства фискальной эксплуатации крестьянства. Поразительно, например, что такой оппонент самодержавия, как Н. Г. Чернышевский, находил много положительного в текущей политике сохранения общинной системы – и не только как основы будущего социализма, но и как проявления искреннего намерения самодержавной власти «сохранить участие огромному большинству нации во владении недвижимой собственностью», избавляя его от бедствий пауперизации [19. С. 109]. Здесь перед нами уже если не quasi-«социалистическая», то имеющая к ней определенную интенцию *социально-патерналистская* монархия. Социальная политика самодержавия на каждом шагу подчеркивала дистанцию между интересами силы, величия и спокойствия государства и интересами отдельных сословий.

Следует предположить, что единственной господствующей и руководящей социальной группой такого государства являлась *военизированная государственная бюрократия*. В той мере, в какой этот тип бюрократии социально не был напрямую связан ни с одним классом или сословием и не имел иного интереса, кроме самодовлеющего интереса государства, в той же мере самодержавную монархию можно, действительно, считать надклассовым институтом – причем не в иллюзорном, а самом настоящем смысле.

Модернизирующаяся империя

Секрет долговечности и устойчивости абсолютистско-имперской политической формы в России, ее полиморфности и многоликости заключался в ее способности вмещать в свое «политарное» пространство множество социально-экономических и культурно-бытовых укладов, выражающих разные, порой далеко отстоящие друг от друга стадии исторического прогресса. Военно-бюрократический тип государственной организации оказался удобным и гибким инструментом управления очень сложным и разнородным общественным организмом – таким инструментом, который мог на известном этапе обеспечивать в нем не только определенный социальный порядок, но и *развитие*.

Перманентный режим «догоняющей» модернизации, в котором страна вынуждена была развиваться с начала XVIII в., определял не только примат политики над экономикой, но и выдвигал государство на роль главного и, зачастую, единственного актора назревших институциональных и социально-экономических преобразований. Государство не только решало масштабные задачи, связанные с наращиванием военно-силового, экономико-технологического и культурного потенциала страны, но и определяло связанную с этим механику распределения национального дохода. Объективно в традиционном, по преимуществу крестьянском, обществе, в условиях бедной страны, с низкой нормой прибавочного продукта и недостатком капиталов, лишь такая возвышающаяся над сословиями *абсолютная* власть обладала возможностью *мобилизации* всех материальных, фискальных и социальных ресурсов для целей модернизации страны, преодоления ее отставания от Запада. Самодержавие имело, по сути, неограниченные возможности с помощью фискального механизма систематически осуществлять «перекачку» ресурсов всего общества на цели индустриализации, которая в свою очередь служила основой военной силы государства. Можно считать, что это было единственное довольно узкое «окно» возможностей для *ускоренной* модернизации такой страны, как Россия. Две мощные волны модернизации – начала XVIII в. и второй половины XIX – начала XX вв. целиком можно отнести к заслугам руководимой самодержавием *просвещенной бюрократии*.

Уже по одному этому основанию самодержавие предстает чем-то гораздо более сложным, чем только чудом сохранявшимся реликтом ретроградного прошлого. Р. Хелли пишет о специфической для России модели «служебного государства», очень традиционного, но в то же время восприимчивого к прогрессивным сдвигам, которые совершались на протяжении всей истории России через механизм «революций» (по существу, радикальных обновлений) так называемого «служебного класса» (бюрократии) [20]. Й. Арнасон полагает, что в значительной части Российская империя представляла собой не столько антипод, сколько структурный прототип советской модели модернизации. Он подчеркивает, что мобилизационная мощь «самомодернизирующейся» империи хотя и покоилась на ресурсах традиционного общества, уже существенно отличалась от традиционной деспотии. По его мнению, абсолютистская империя, являясь движущей силой и главным актором изменений, обеспечивала их радикализацию, но при этом сама со временем становилась не противовесом гражданскому обществу, а, напротив, стремилась стать концентрированным и динамичным выражением потенциала его «самотрансформации». Ориентированная на модернизацию империя порождала авторитарный, «структурно деформированный», но довольно динамичный тип развития капитализма, представляющий реальную (по крайней мере, на определенном этапе) альтернативу классическому западному варианту [21. Р. 19–20, 73].

Следует согласиться с оценкой Й. Шумпетера, полагавшего, что за либеральной и социалистической критикой русского самодержавия «совершенно потерялась та простая истина, что эта форма правления не менее точно соответствовала породившей его социальной структуре, чем парламентская монархия в Англии или демократическая республика в Соединенных Штатах». По его мнению, «царизм как раз имел широкую опору среди огромного большинства всех классов» и, вместе со всей его бюрократией, частичными реформами в аграрном секторе, покровительством промышленности и нетвердым движением к выхолощенному варианту конституционного строя, был *вполне органичен* тому умеренному темпу социальной эволюции, который наблюдался в российском обществе. Если бы не напряжение войны, вызвавшее дезорганизацию фронта и тыла, этот неустойчивый баланс

между старым и новым мог бы выдерживаться и дальше, лишь постепенно смещаясь к победе новых начал [22. С. 422–423].

Социальный смысл революции 1917 г.

Модернизационный курс самодержавия таил в себе и глубокие противоречия. С одной стороны, прогресс модернизации неизбежно увеличивал амплитуду отрыва самых передовых эшелонов развития (т.е. промышленного капитализма) от низших социально-экономических укладов, делал общество в экономическом и культурном отношении более сложным, гетерогенным, а самодержавие – почти *незаменимым* институтом, способным под «политарной» оболочкой абсолютизма сохранять единство этих разностей. С другой же стороны, модернизация вступала в конфликт с отношениями традиционного общества. Осуществляя модернизацию, самодержавие неизбежно порождало в обществе стремление к большей индивидуальной эмансипации, расширению возможностей реализации частных интересов. Эта тенденция в свою очередь делала анахронизмом лежащие в основе самодержавной формы правления идеи всеобъемлющей бюрократической регламентации и опеки над обществом, приоритета обязательственных, «служебных» отношений перед государством, подминавших под себя тесно связанную с частным интересом свободу личности. Поэтому одновременно с поощрением развития в *буржуазном направлении* самодержавие стремилось сдерживать процесс разложения *старой системы власти*, опираясь на консервацию социальных опор традиционного общества (помещичьего землевладения, крестьянской общины и т.п.). По мере развития страны, самодержавие становилось всё более неспособным бесконфликтно соединить в своей политике цели расширения частной свободы и сохранения социального порядка, расширение личных прав и свобод граждан (включая имущественные) и интересы служения государству.

Помимо тех социальных противоречий, которые обычно выделяют в пореформенную эпоху (между помещиками и крестьянами, буржуазией и рабочими), постепенно зрел менее ясно выраженный, но всеобщий, *социальный* по своему характеру конфликт между бессловным «гражданским» обществом и той системой сословно-бюрократической организации общества, на которой

зиждилась абсолютистская монархия. Этот конфликт приобрел почти *открытые* формы уже в период реформ 1860-х – 1870-х гг. По наблюдению Ф. М. Достоевского, именно в этот период «шатости и неопределенности» усилилась подвижность общественной жизни, а в ней подспудно стала утверждаться «новая условность», вытеснявшая прежнюю иерархию статусов: на место дворянина и чиновника в роли «лучших людей» выдвигались выразители власти «золотого мешка» – фигуры купца-миллионщика, биржевого игрока, ловкого адвоката [23. С. 330–332].

А. Д. Пазухину пореформенная Россия уже видится *расколотой* страной: России «исторической», опирающейся на сильную государственность и сословность, противостоит зараженная анархией, материализмом, цинизмом и стяжательством, «другая» Россия, которая «заявляет о себе каждодневно и требованием конституции, и хищением общественного достояния, и подвигами тайной крамолью» [12. С. 3–4]. Фактически о периоде реформ можно говорить как об уже состоявшейся *культурно-психологической* «революции», в дальнейшем – в 1905 и 1917 гг. – устремившейся лишь к своему политическому завершению. Обе эти революции напоминали *общественный взрыв*, когда острое недовольство практически всех групп населения сфокусировалось, прежде всего, против власти.

Очень точно смысл этого противостояния по итогам революции 1905–1907 гг. выразил С. Ю. Витте: «... Главная причина нашей революции – это запоздание в развитии принципа индивидуальности, а, следовательно, и сознания собственности и потребности гражданственности, в том числе и гражданской свободы. Всему этому не давали развиваться естественно, а так как жизнь шла своим чередом, то народу пришлось или давиться, или силою растопыривать оболочку; так пар взрывает дурно устроенный котел – или не увеличивай пара, значит, отставай, или совершенствуй машину по мере развития движения» [14. С. 506].

Легкость и стремительность свержения самодержавия в 1917 г. обернулась – при всей выраженности в революции *буржуазной* и *социалистической* тенденций – неспособностью практически всех чередующихся у власти буржуазных и «соглашательских» партий стабилизировать ситуацию и преодолеть уже не просто социальный раскол общества (типичное для

революций явление), но его стремительно нараставший катастрофический *распад*. Ни одна из политических группировок, по оценке Й. Шумпетера, не имела столь широкой и глубокой связи с народной массой и ее отдельными слоями, какой обладал свергнутый царизм [22. С. 423]. Отсюда тот паралич дееспособности, который демонстрировало Временное правительство в период с февраля по октябрь 1917 г., пока, наконец, *всё более сужающейся* возможностью выхода из кризиса власти не воспользовались большевики.

Закономерен вопрос: была ли жизнеспособной в условиях начавшейся революции *буржуазная* альтернатива рухнувшей автократии, если невозможно подвергать сомнению общий вектор буржуазной эволюции российского общества? Ответ на этот вопрос, скорее всего, будет отрицательным. Несмотря на впечатляющие успехи капиталистической индустриализации в последнее двадцатилетие перед революцией, развитые формы капиталистического производства охватывали всё еще довольно узкий сегмент российской экономики, которая на 80% была представлена отсталым аграрным сектором. В состоянии даже русской крупной промышленности имелось много несовершенств и уязвимых мест: она была «бедна капиталами, квалифицированными рабочими, техниками и инженерами», а ее размещение по территории страны было крайне неравномерным [24. С. 318]. Однако для оценки капитализма как системно-политической альтернативы абсолютизму гораздо важнее другое обстоятельство, а именно – его *институциональная слабость* не только в отношениях с государством (слабая легитимация частной собственности, отсутствие гарантированного правового режима, неразвитость контрактного права) [25], но и в среде гражданского общества. Восприятие капитализма как движущей силы общественного прогресса еще довольно слабо проникло в толщу традиционного русского общества.

Негативное или, по крайней мере, равнодушное отношение к капитализму в обществе во многом объяснялось и специфическим характером проводимой царизмом политики «вращения» капитализма. В то время как сектор крупнокапиталистической промышленности поощрялся к развитию созданными для него «тепличными» условиями (щедрыми государственными субсидиями, казенными заказами и т.п.) и потому воспринимался

часто как искусственный нарост на теле «народной» экономики, обремененная фискальными поборами и крепостническими пережитками отсталая крестьянская экономика, при других условиях могущая служить почвой для широкого роста капитализма «снизу», характеризовалась крайне медленной эволюцией в буржуазном направлении.

Фактически *деформированный* характер капиталистического развития в условиях абсолютистской модернизации выразился в сильнейшей поляризации создаваемого «сверху», *субсидируемого* крупнопромышленного капитализма и полунатуральной, *субсистентной* крестьянской экономики – при фундаментальном недостатке средних, промежуточных звеньев между ними. Развитию капитализма препятствовала и низкая покупательная способность большинства населения. При хроническом недостатке капиталов абсолютистская политика модернизации поощряла такой тип развития капитализма, который базировался не на его собственных воспроизводственных возможностях, а на фискальной эксплуатации *всего* общества. В результате в пореформенной России формировался хорошо знакомый по странам «третьего мира» феномен «двойной экономики». А сохранявшийся с петровской эпохи *культурный раскол* российского общества довершил картину углубляющегося кризиса, делая конституционалистские программы буржуазных партий малопонятными и чуждыми народной массе. Февраль 1917 г. в этом смысле если и можно считать *буржуазной революцией*, то революцией несостоявшейся, абортивной.

Вся сумма этих доводов заставляет по-новому взглянуть на социальную природу русской революции 1917 г. На начальном этапе настоящую силу *всеобщего социального взрыва* ей придавала та концентрация противоречий (неразрешенность острейшего земельного вопроса, фискальная сверхэксплуатация общества, множась в военной обстановке дисфункции бюрократического управления), которая очень точно укладывается в проявления так называемого «закона убывающей бюрократической эффективности», выведенного К. А. Виттфогелем применительно к *социальным переворотам*, совершавшимся время от времени в *аграрных обществах Востока* [26].

К такому пониманию социальной природы революции 1917 г. подводит и тот бесспорный факт, что вся борьба партий

и программ, происходившая в «верхнем слое» политики, в конечном счете, зависела от колебаний в настроении наиболее массовой движущей силы революции – *крестьянства*, которое, вследствие войны и мобилизации в армию, оказалось стремительно втянутым в горнило активной *городской* политики. При всей настойчивости требований разрешения острейшего земельного вопроса, крестьянство являлось социальной группой, приверженной весьма смутным *традиционным* идеалам «правды» и «справедливости», и потому неспособной возвыситься до выдвижения в ходе революции самостоятельной политической программы. Очевидно, что исход борьбы за власть в этих условиях был абсолютно «незапрограммированным» и зависел от того, какой политической силе удастся «оседлать» эту стихию *победоносного крестьянского восстания*.

Большевики сумели по-своему гениально воспользоваться нараставшей вместе с хозяйственным крахом *радикализацией* массовых настроений и – что важно – внедрить в них довольно простую, доступную пониманию пропагандистскую «матрицу» *социалистического* характера революции. Ирония истории состояла, однако, в том, что, приступая на этой основе к новой общественной «сборке», большевистский режим в последующей своей политике вынужден был, осознанно или безотчетно, вместе с реализацией своего эгалитарно-утопического идеала, не только реализовывать несостоявшуюся историческую миссию русского капитализма, со всеми сопровождавшими ее ужасами первоначального накопления, но и подвергнуться существенной «ретрадиционализации», т.е. воскресить те стратегии и инструменты властвования, которые определялись исходным неразвитым состоянием социального агрегата тогдашнего российского общества и были характерны для рухнувшего в феврале 1917 г. абсолютистского режима.

Разумеется, проведение параллелей между русской революцией 1917 г. и «ориенталистской» моделью *антиабсолютистской крестьянской революции* требует известных поправок на исторические накопления процессов модернизации и европеизации Российской империи. Возможно, более релевантной объяснительной моделью здесь могла бы служить выдвинутая Д. Ливеном концепция «гибридного» (западно-восточного) характера российской автократии [27], которая, кстати, позволяет не считать

специфику Российской империи уникальной, но вписывает ее в типологический ряд других известных «военных империй» (в частности, Османской и Цинской), со всеми постигшими их в начале XX в. революционными катаклизмами.

Самое главное, однако, в том, что предлагаемый взгляд позволяет увидеть русскую революцию 1917 г. в совершенно новой плоскости и в диахронном плане – не как изолированный факт *социального взрыва* в многовековом стабильном течении русской истории, но как проявление присущего ей алгоритма, *повторно* засвидетельствованного событиями «младороссийской» революции августа 1991 г. Всякому, кто вдумчиво анализирует современную российскую действительность, становится ясно, что и она стопроцентно не застрахована от тех социальных противоречий и рисков, которые в 1917 г. ввергли страну в болезненную революционную ломку.

Литература

1. *Мионов Б. Н.* Социальная история России (XVIII – начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства.– Изд. 2-е, исправл.– В 2 т.– Т. 2.– СПб.: «Дмитрий Буланин», 2000.– 567 с.
2. *Камю А.* Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр.– М.: Политиздат, 1990.– 415 с.
3. *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с англ. В. Л. Иноземцева.– М.: Логос, 2003.– 368 с.
4. *Huntington S. P.* The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.– N.Y.: Simon & Schuster, 1996.– 367 p.
5. *Шмитт К.* Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса.– СПб.: «Владимир Даль», 2006.– 300 с.
6. *Зубков К. И.* Петровская модернизация как рецепция рационализма (методологический анализ) // Модернизация в социокультурном контексте: традиции и трансформации: Сб. науч. ст.– Екатеринбург: УрО РАН, УрГИ, 1998.– С. 64–77.
7. *Семенов Ю. И.* Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней).– М.: «Современные тетради», 2003.– 776 с.
8. *Шумпетер Й. А.* История экономического анализа: В 3-х т.– Т. 1. / Пер. с англ. В. С. Автономова.– СПб.: Ин-т «Экономическая школа»; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; ГУ–ВШЭ, 2004.– LVII, 496 с.
9. *Зубков К. И.* Абсолютизм и модернизация: к оценке петровских реформ начала XVIII века // Вестник Гуманитарного университета.– 2017.– № 1 (16).– С. 72–84.
10. *Кавелин К. Д.* Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры.– М.: Изд-во «Правда», 1989.– 654 с.

11. *Skocpol Th.* States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China.– Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 1979.– xviii, 407 p.
12. *Пазухин А. Д.* Современное состояние России и сословный строй.– М.: В Университетской Типографии (М. Катков), 1886.– 63 с.
13. Политический строй современных государств.– Т. 1.– СПб.: Изд. кн. П. Д. Долгорукова и И. И. Петрункевича, 1905.– XIV, 652 с.
14. *Витте С. Ю.* Избранные воспоминания. 1849–1911 гг.– М.: Мысль, 1991.– 708 с.
15. *Raeff M.* The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800.– New Haven: Yale University Press, 1983.– ix, 284 p.
16. *Ерошкин Н. П.* Самодержавие накануне краха.– М.: Просвещение, 1975.– 160 с.
17. *Ленин В. И.* Письма о тактике // Ленин В. И. Полн. собр. соч.– Т. 31.– М.: Политиздат, 1974.– С. 131–144.
18. *Lieven D.* The elites // The Cambridge History of Russia.– Vol. II: Imperial Russia, 1689–1917 / Ed. by D. Lieven.– Cambridge: Cambridge University Press, 2006.– P. 227–244.
19. [Чернышевский Н. Г.] Община и государство. Две статьи Н. Г. Чернышевского.– Женева: Издание журнала «Набат», 1877.– XIII, 125 с.
20. *Hellie R.* The Structure of Russian Imperial History // History and Theory.– 2005.– Theme Issue 44.– P. 88–112.
21. *Arnason J. P.* The Future That Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model.– L.: Routledge, 1993.– xi, 239 p.
22. *Шумпетер Й.* Капитализм, социализм и демократия / Пер. с англ.– М.: Экономика, 1995.– 540 с.
23. *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя. Избранные страницы.– М.: Современник, 1989.– 557 с.
24. *Прокопович С. Н.* Народное хозяйство СССР.– Т. 1.– Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.– 398 с.
25. *McDaniel T.* Autocracy, Capitalism, and Revolution in Russia.– Berkeley; Los Angeles; L.: University of California Press, 1988.– xii, 500 p.
26. *Wittfogel K. A.* Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power.– New Haven; L.: Yale University Press, 1967.– xix, 556 p.
27. *Lieven D.* Dilemmas of Empire 1850–1918. Power, Territory, Identity // Journal of Contemporary History.– 1999.– Vol. 34, No. 2.– P. 163–200.